## Рождение человека

Автор: *Горький М.*

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря - сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодера кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и - обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих - много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни - гости с далекого севера - клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и ляп можно найти "пьяный мед", который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а "проходящие" люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш - тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе - точно в богатом соборе, который построили ве'ликие мудрецы - они же всегда и великие грешники,- построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все - снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

- Твое - от Твоих - Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их - живою тканью многообразных деревьев, и - безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность - быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотою!

Ну да - порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это - не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а - не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но - их надобно починить или - лучше - переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечьи голоса - это "голодающие" идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их - орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж - объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это - скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы - изумив - ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

- А-яй... экая землища...

- Прямо - прет из нее.

- Н-да-а... а однако - камень ведь...

- Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке. Сухом гоне. Мокреньком - о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого - орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба - высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой - в желтом платке,- уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...

во зелены-их куста-ах -

На песочку...

расстелю я белый плат...

Не дождусь ли...

дружка милого мово...

Придет милый...

поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой да милый...

ой, миленок дорогой...

Не судьба мне...

боле видетьси с табой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента - она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке. ...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла. Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа - качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков - белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накренясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки - серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише - "чише" и "хыть" вместо хоть.

- Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти - легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе - как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине - спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны,- кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор - будет дождь.

...Тихий стон в кустах - человечий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу - опираясь спиною о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

- Что - ударили? - спросил я, наклоняясь к ней,- она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

- Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело,- это я уже видел однажды,- конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях - она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

- Разбойник... дьявол...

Подломились руки, "она упала, ткнулась лицом в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги - у нее уже вышел околоплодный пузырь.

- Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и - стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка,- я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она - сквозь зубы, я - тоже не громко, она - от боли и, должно быть, от стыда, я - от смущения и мучительной жалости к ней...

- Х-хосподи,- хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, всъ льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

- Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

- Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

- Ну, скорей!

И вот - на руках у меня человек - красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу - он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

- Я-а... я-а...

Такой скользкий - того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу-очень рад видеть его! И - забыл, что надобно делать...

- Режь...- тихо шепчет мать,- глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

- Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке - я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать - улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем - темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

- Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она - улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

- Оправляйся, а я пойду, вымою его... Она беспокойно бормочет:

- Мотри - тихонечко... мотри же... Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

- Я-а... я-а...

- Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всъ обливали его.

- Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

- Дай... дай его...

- Подождет.

- Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплому ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

- Пресвятая, пречистая,- вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза - святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

- Слава те, пречистая матерь божия... ох... слава тебе... Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

- Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто - чуть заметно - румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

- Отойди-ка...

- Ты очень-то не возись...

- Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это - вместе с немолчным плеском моря - так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей - точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

- Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

- Гляди - как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом,- какие не растут в Орловской губернии.

- Ты бы, мать, легла...

- Не-е,- сказала она, покачивая головою на развинченной шее,- мне прибираться надобно да идти в энти самые...

- В Очемчиры?

- Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

- Да разве ты можешь идти?

- А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей,- надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

- Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

- О? Напои-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

- Что ж это земляки бросили тебя?

- Они не бросили - зачем! Я сама отстала, а они - выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

- Первый у тебя?

- Первенькой. А ты - кто?

- Вроде как бы человек...

- Конешно, человек! Женатый?

- Не удостоился...

- Врешь?

- Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

- А как же ты бабьи дела знаешь? Теперь - совру. И я сказал:

- Учился этому. Студент - слыхала?

- А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится... - Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой... Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась - дышит ли? - потом поглядела в сторону моря.

- Помыться бы мне, а вода - незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

- Вот ты ею и помойся - здоровая вода!

- Ой?

- Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь - как лед...

- Тебе - знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом - фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

- Эки люди здесь несуразные да страховидные,- тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья - чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты - женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.

- Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я - догадался.

- Дай мне, я зарою...

- Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

- Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

- Шутишь ты, а я - боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

- Уж ты - получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидал, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

"Эка силища звериная!"

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

- Бросил ученье-то?

- Бросил.

- Пропился, что ли?

- Окончательно пропился, мать!

- Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме приметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалося мне - видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

- Как-то он поживет? - вздохнув, сказала она, - оглядывая меня.- Помог ты мне - спасибо... а хорошо ли это для него, и - не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

- Неужто - идешь?

- Иду.

- Ой, мать, гляди!

- А- богородица-то?.. Дай-ко мне его!

- Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и - пошли, плечо в плечо друг с другом.

- Кабы мне не трюхнуться,- сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли - тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына - глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

- Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все - шла, все бы шла, до самого aж до краю света, а он бы, сынок,- рос да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...